



This is an open access article distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

© 2018 г. А. С. Демин
г. Москва, Россия

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ В ДРЕВНЕРУССКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Аннотация: Чем интересна для нас древнерусская литература? Нет, не формальной текстологией, а творчеством авторов. Частичный ответ на этот вечный вопрос о смысле литературы дает предлагаемая работа — о степени выразительности и образительности повествования в некоторых памятниках XII–XVII вв.: в «Новгородской первой летописи», «Владими́ро-Суздальской летописи», «Киевской летописи», «Галицкой летописи», «Житии Девгения», «Слове о Меркурии Смоленском», «Сказании об Аристотеле», «Повести о взятии Царьграда турками», «Повести о разорении Рязани Батыем», «Хронографе 1512 г.», «Повести о Горе-Злочастии». Разные произведения — разная выразительность, и ее надо объяснять. К литературно-художественному творчеству побуждали древнерусских книжников самые разные причины: острые переживания от невиданных общественных несчастий и зол, влияние новаций в искусстве и в быту, а также моды в редактировании произведений и в комбинаторике тем; однако в конечном счете самое важное, но редкое — природный литературный талант древнерусского писателя, преимущественно трагика.

Ключевые слова: летописи, повести, манера повествования, выразительность, образительность, скрытый смысл, ассоциации.

Информация об авторе: Анатолий Сергеевич Демин — доктор филологических наук, главный научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия. E-mail: anatolydemin@gmail.com

Дата поступления статьи: 15.08.2017

Дата публикации: 15.03.2018

Сначала определим, что есть выразительность. Под выразительностью мы понимаем ассоциативный, скрытый дополнительный смысл — наглядно-предметный, образительный, эмоциональный, эстетический, — незаметно вносимый автором в высказывания благодаря словоупотреблению, различным литературным средствам, деталям, форме и структуре изложения. Выразительность, или литературность, древнерусских произведений нередко считается самоочевидной для нас и не требующей доказательств и объяснений ее наличия. Мол, каждый разберется. То, что это не так, прекрасно показали труды А. С. Орлова, И. П. Еремина, В. П. Адриановой-Перетц, Д. С. Лихачева. Нужны доказательства, а не заблуждения. Предлагаемые очерки продолжают то же доказательное направление семантических исследований древних текстов, мы стараемся, насколько это возможно, воссоздать творческий облик авторов и редакторов, а не просто описывать «художественные средства».

1. Летописи XII–XIII вв.

Вопреки обычному методу выделения в памятниках самых интересных литературных мест, обратимся к не слишком эстетически благодарному фактографическому летописному материалу для того, чтобы показать глубину проникновения элементарных литературных качеств в летописные тексты.

Древним образцом фактографической краткости сообщений, как известно, служит «Новгородская первая летопись» старшего извода по Синодальному списку XIII в., особенно ее статьи за XI–XII вв. [1, с. 245–246]. Да, об очень важных для Новгорода событиях новгородский летописец писал подробно и эмоционально, но многие остальные события сухо упоминал, перечисляя их кратко как факты посторонние, не главные или меньшего уровня значимости для Новгорода. Однако и к некоторым «менее значимым» для него фактам летописец также иногда проявлял равнодушное отношение.

Прежде всего — о выразительности логической как проявлении равнодушия летописцем. Под 1068 г. летописец сообщил: «Гневъ Божии бысть: придоша половци и победиша Русьскую землю» [4, с. 17]. Шедевр лаконизма! Однако упоминания «гнева Божия» и «Русской земли» имели скрытый ассоциативный смысл и указывали на масштаб несчастья, даже если новгородский летописец как бы только для фиксации факта сократил здесь соответствующее сообщение «Повести временных лет».

Что это за скрытые ассоциации летописца? Выражение «гнев Божий» и ему подобные новгородский летописец употреблял только по поводу исключительно больших несчастий: половцы «измроша, убиваеми гневомъ Божиимъ» [4, с. 62, под 1224 г.]; массовая смерть от голода — «видяще предъ очима нашими гневъ Божии <...> не въ нашей земли въ одной, нъ по всей области Русстей» [4, с. 71, под 1230 г.]; татаро-монгольское нашествие — «попусти Богъ поганья на ны, наводитъ Богъ по гневу своему иноплемьники на землю» [4, с. 76, под 1238 г.].

Упоминания же «Русской земли» чаще всего обозначали у новгородского летописца охват всех областей и населения страны тем или иным событием: «Идоша вся братья Русьския земля на половеце» [4, с. 19, под 1093 г.]; «иде <...> вся земля просто Русская на половеце» [4, с. 20, под 1111 г.]; «сильно бо възмялася вся земля Русская» [4, с. 23, под 1135 г.]; «ходиша вся Русская земля на Галиць» [4, с. 27, под 1145 г.]; «бысть тишина въ Русстей земли» [4, с. 29, под 1155 г.] и пр.

Так что внешне фактографичное сообщение новгородского летописца под 1068 г. о победе половцев над Русской землей обладало некоторой лапидарной выразительностью, подразумевая очень крупный военный конфликт (на фоне явно более мелких событий, далее кратко же перечисленных новгородским летописцем в той же статье под 1068 г.: освобождение князя «ис поруба», стычка другого князя с половцами, бегство еще другого князя «въ ляхы»). Большое несчастье у киевских «соседей» все-таки произвело впечатление на новгородца.

Перейдем к выразительности эмоциональной в кратких сообщениях. Под 1125 г. летописец кратко рассказал о стихийном бедствии в Новгороде: «бѣше буря велика съ громомъ и градомъ, и хоромы раздѣра, и съ божницъ вълны [шерсть] раздѣра, стада скотины истопи въ Волхове» [4, с. 21]. Выразительны созвучия в цепи фраз: бя-бу, гро-гра-хоро, ра-ра, ра-ра, ста-ско-сто, въ-во-ве. Хотя совершенно неясно, сознательно ли летописец прибегнул к такому средству или созвучие получилось случайно. Однако подобные трагические созвучия и дальше встречались в летописи. Ср.: «бы вода велика вельми въ Волхове и всюде» — и дальше эмоциональные повторы: «разнесе <...>

растьрза <...> внесе <...> отинудь бе-знатбе занесе» [4, с. 26–27, под 1143 г.]. Как бы то ни было, возможная эмоциональная звуковая выразительность таких сообщений летописца была связана уже не с военным, а с природным «конфликтом» (остальные уже чисто фактографические сообщения в статье под 1125 г. касались вполне благополучных русских дел: посажения князей «на стол» и росписи церкви; а в статье под 1143 г. — женитьбы князя).

Обычно же некоторая скрытая экспрессивность краткого сообщения достигалась летописцем благодаря словесным повторам; вот жалоба: «паде метыль густь *по* земли, и *по* воде, и *по* хоромомъ, *по* 2 ноци, и *по* 4 дни» [4, с. 21, под 1127 г.].

Кроме того, летописец выражал и явную экспрессию в своих кратких сообщениях, открыто высказывая эмоциональные оценки по поводу военных и природных конфликтных событий: «И бысть сечи *зле*» [4, с. 15, под 1016 г.]; «*о, велика бяше сеця*» [4, с. 17, под 1069 г.]; «*почя убывати солнца и погыбе все; о, великъ страхъ*» [4, с. 21, под 1124 г.]; «*и стаха денье злы: мразь, вялиця, страшно зело*» [4, с. 23, под 1134 г.]; «*много бысть зла, и погоре всь търгъ и двори*» [4, с. 29, под 1152 г.] и т. д. и т. п.

Отсюда видно, насколько эстетически действенной была в Новгороде атмосфера конфликтности, тягот и бедствий, подтолкнувшая новгородского летописца XI–XII вв. и к минимальному, в пределах даже одной-двух фраз, но все же выразительному изложению, не говоря уже о сравнительно больших рассказах.

Атмосфера конфликтности и несчастий и переживания от этого подвигли новгородского летописца как очевидца не только к логической и эмоциональной выразительности, но иногда и к изобразительности повествования. Так, глагол «пасти» благодаря «территориальным» деталям нередко имел у летописца предметный ассоциативный смысл чем-то покрытого пространства. Голодомор: «*люте бяше <...> падъшимъ* от глада, трупие *по улицамъ, и по търгу, и по путьмъ, и всюду*» [4, с. 22, под 1128 г.] — сплошь лежащие тела. Гроза: «*въ святеи Софии от грома <...> клирось въсь съ людьми падоша ници*» [4, с. 20, под 1117 г.] — люди сплошь уткнулись лицами в пол.

В отдельных случаях атмосфера социальной или природной конфликтности благодаря тем же личным впечатлениям летописца приводила к отчетливой зримости его описаний, к выразительности изобразительной. Расправа с посадником, совсем голым: «*обнаживъше, яко мати родила, и съверша ѝ съ моста*» [4, с. 26, под 1141 г.]. Гроза с крупным и увесисто круглым градом: «*зело страшно бысть <...> градъ же, яко яблъковъ боле*» [4, с. 30, под 1157 г.]. Пасмурность очень долгая и дождливая: «*наиде дъжгъ, яко не видехомъ ясна дни ни до зимы <...> а на зиму не бысть <...> ни ясна дни и до марта*» [4, с. 27, под 1145 г.] — беспросветно.

Конечно, в летописи, в пределах XI–XII вв., часты были сообщения и о мирных событиях, особенно о строительстве церквей, но такие сообщения почти всегда являлись спокойно-фактографическими и лишь единичные, благодаря стройности перечисления, приобретали у летописца некую напевную выразительность, вроде следующей похвалы по поводу редкостного доброго дела: «*Аркадь игумень <...> състави собе манастирь; и бысть крестьяномъ прибежище, ангеломъ радость, а дьяволу пагуба*» [4, с. 29, под 1153 г.].

В итоге, все это, за редкими исключениями, свидетельствует о преобладавшем влиянии гнетущей атмосферы конфликтности в новгородской жизни XI–XII вв. на появление многих выразительных мест в тексте новгородской летописи. Но говорить о большом литературном таланте новгородского летописца не приходится: он использовал только традиционные средства выразительности.

Теперь присмотримся к «Владими́ро-Суздальской летописи» (в пределах XII – первой трети XIII вв.), в которой летописец обильно повторял фразеологию «Повести временных лет» и переписал целые отрывки из нее.

Но вот пример не текстологической, а изобразительной ориентации составителя «Владими́ро-Суздальской летописи» на «Повесть временных лет». Под 1128 г. летописец пересказал легенду, изложенную в «Повести временных лет», о насильственной жемане Владимира на Рогнеде, но при этом дополнил указаниями на позы героев, на их руки. Лежащий Владимир схватил наклонившуюся над ним с ножом Рогнеду за руку: «уснувшю; хотя ѡ зарезати ножемъ; и ключися ему убудитися и я ю за руку» [11, с. 300, под 1128 г.]. Затем Рогнеде приходится «сести на постели», но, чтобы защититься, она «давши же мечь сынови своему Изяславу в руку нагъ», и Владимир «повергъ мечь свои».

Нигде во «Владими́ро-Суздальской летописи» нет подобного изобразительного упоминания позы и рук. Это вставка. Подтверждается мнение А. А. Шахматова, что рассказ о Рогнеде во «Владими́ро-Суздальской летописи» «восходит в конце концов к Новгородскому своду XI века» [15, с. 249, см. также с. 145, 174, 247].

Тем не менее в статье под 1128 г. владимирский летописец опирался хотя и не на текст рассказа о Рогнеде в «Повести временных лет», однако все-таки на повествовательную манеру «Повести временных лет», для которой как раз были характерны обозначения поз персонажей через упоминания их рук. Ср. в «Повести временных лет»: «подаста руку межю собою» [11, с. 67, под 968 г.]; «прострета руку» [11, с. 89, под 986 г.]; «преторже череву рукама <...> похвати быка рукою за бокъ <...> удави печенезина в рукахъ» [11, с. 123, под 992 г.]; «свеще держаще в рукахъ» [11, с. 182, под 1072 г.]; «помавають рукою» [11, с. 235, под 1096 г.]; «дотиснувшись пальцемъ в чашю» [11, с. 166, под 1066 г.].

Кстати говоря, выражение с предметным дополнением «зарезати ножемъ» во владимирском рассказе, кажется, тоже восходило к «Повести временных лет»: «вынзе ножь, зареза Глеба» [11, с. 136, под 1015 г.]; «вынзе ножь и зареза Редедю» [11, с. 147, под 1022 г.].

Судя по работам А. А. Шахматова и Я. С. Лурье, статья под 1128 г. перешла во «Владими́ро-Суздальскую летопись» из предыдущих владимирских летописных сводов 1185 и 1305 гг., содержащих «Повесть временных лет»; поэтому неясно, чьи литературные вкусы отразила статья под 1128 г.

Для прочих, правда немногих и разрозненных, статей «Владими́ро-Суздальской летописи» характерна уже знакомая нам зависимость явлений выразительности и изобразительности от ранивших душу летописца исключительных социальных и природных несчастий и угроз. Так, летописец экспрессивно рассказал об убийстве князя рассвирепешей толпой: «а хочем ѡ убити <...> хочем убити <...> кликнувши поидоша убить <...> и идяхуть людье убити <...> и яша <...> бьючи <...> и выломиша ворота <...> и разбиша сени, и сомчаша ѡ сенеи, и ту убиша ѡ <...> поверзъше, за нозе волокоша <...> поверженъ есть на торговищи» [11, с. 317–318, под 1147 г.]. Глаголами насилия — «кликнути», «бити», «выломити», «разбити», «сомчати», «повергнути», «волочити» — летописец, несомненно, изобразил, притом неодобрительно, бешеный напор нападавших.

В некоторых других случаях летописец предметно обозначал (сам или через чье-то посредство и, вероятно, полусознанно) смертельно опасную окруженность воина. Например, во время битвы сопровождающие «видев же князя своего в велику беду

впадша, зане обиступлень бе ратными <...> ять бо бе двема копьема конь под нимъ, а третьимъ в передни лукъ и седельни; а с города, акы дождь, камене меташу на нь; един же <...> видевь ѱ, хоте просунути рогатиною» [11, с. 325, под 1149 г.]. Изображение у летописца, конечно, слабое, детали имели неотчетливый пространственный смысл: «обиступлень» — персонаж окружен; три вражеские копья «под нимъ» — угроза с боков персонажа; «акы дождь» — угроза сверху; «просунути рогатиною» — опасность снизу. Картина, хоть и нечеткая, опять-таки оказалась невольным авторским отражением реального яростного нападения врагов.

Сильнейшие природные конфликты тоже приводили впечатлительного летописца к изобразительности повествования. Например, сообщение о сильной засухе и пожарах превратилось у летописца в детальную картинку плотно задымленного пространства вокруг людей: «Бе ведро велми, и мнози борове и болота загарася, и дымове силни бяху, яко недалече бе видети человекомъ. Бе бо яко мгла к земле прилегла, яко и птицам по аеру не бе лзе летати, но падаху на земли и умираху» [11, с. 447, под 1223 г.] — дым густой («мгла»), люди закрыты дымом со всех сторон, даже птицам ничего не видно. Полная безвыходность положения.

Кроме того, крупные несчастья порождали у летописца тяготение к подчеркиванию отрицательных и мучительных физических состояний персонажей. Например, изображение внезапной незащитности молодого князя в ожесточенной стычке: «изломил копье свое, тогда же бодоша конь под ним в ноздри, и конь же начать соватися под ним, и шеломи с него слете, и щить отторже» [11, с. 334, под 1151 г.]. Судя по подбору деталей, все, что составляло силу воина, сразу повредилось или потерялось.

В резко эмоциональном рассказе о небывало садистском отношении владыки «Феодорца» к людям летописец показал сугубую жестокость членовредительства, перечисляя у каждого человека по две казни вместе: «человекомъ головы порезывая и бороды; иным же очи выжигая и языкъ урезая; а инья распиная по стене и муча немилостивне» [11, с. 356, под 1169 г.]. Но и над самим палачом «Феодорцем» совершили три казни сразу: «языкъ урезати <...> и руку правую утяти и очи ему выняти».

Страшные стихийные явления и рассказы очевидцев о том также послужили у летописца источником выразительных описаний. Так, ошеломленный летописец набором глаголов изобразил качку во время большого землетрясения: «потрясеса земля, и церкви, и трапеза; и иконы подвижешася по стенам, и паникадила с свечами; и светилна поколебашася; и людье мнози <...> мняхутся тако, яко голова обшла коего их» [11, с. 454, под 1230 г.].

Болело солнце: «Бысть знамень вь солнци, и морочно бысть велми <...> яко зелено бяше, и вь солнци учинися, яко месяц, из рогъ его, яко уголь жаровь исхожаше. Страшно бе видети человекомъ знамень Божье» [11, с. 396, под 1186 г.]. Почему «страшно»? Помимо точного описания солнечного затмения летописец, хоть и не очень отчетливо, передал зрительное впечатление губительного догорания солнца: оно почти все погасло («морочно»), оставшийся огонь ослаб («зелено»), и наконец, осталось два тлеющих уголька («уголь жаровь»).

Болело небо. Летописец однажды нарисовал картину обильного небесного кровотоечения: «Бысть во едину ночь <...> потече небо все и бысть чермно; по земли и по хоромом <...> аки кровь прольана на снегу <...> Мнети видящим я яко кончину» [11, с. 419, под 1203 г.]. Небесная «чермная» кровь как бы пролилась на землю, на снег и на хоромы; кровоточащее небо, по впечатлению летописца, испытывало «кончину».

В общем, особо впечатлявшие летописца конфликты и несчастья в реальности шли рука об руку с выразительностью их описаний во «Владими́ро-Суздальской летописи». Но в общем какого-то яркого литературного таланта владимирский летописец не проявил.

Что касается «**Киевской летописи**», литературная сторона которой обстоятельно изучена И. П. Ереминым (он впервые, еще до Д. С. Лихачева, использовал термин «этикет»), то мы можем добавить лишь немного о конфликтных ситуациях и несчастьях как причинах появления выразительных предметных деталей в рассказах летописца.

Если исключить статьи, аналогичные «Владими́ро-Суздальской летописи», то в «Киевской летописи» останутся буквально две-три не просто выразительные статьи, но демонстрирующие искорки изобразительного дарования у киевского летописца. «Киевская летопись» — это бесконечная лента военно-тактических рассказов, однако с проникновением подобных воинских мотивов в темы, к войне не относящиеся. Например, в лунном затмении пораженный киевский летописец увидел воинский поединок: «бысть знамение в луне страшно и дивно <...> бысть яко кровава <...> и посреде ея яко два *ратьяная секущая мечема*, и единому ею, яко кровь, идяше изъ главы, а другому бело, акы млеко, течаше» [10, с. 516, под 1161 г.]. Даже в описании сильной бури киевский летописец не обошелся без воинских деталей: «бысть буря велика <...> и розноси хоромы, и товарь, и клети <...> и спросто рещи, яко рать взяла <...> налезоса *броня* у болоте, занесены бурею» [10, с. 314, под 1143 г.] — буря равна войне.

Но однажды не воинский дух, а иная трагическая ситуация подтолкнула киевского летописца припомнить выразительную предметную деталь: умирающий очень богомольный князь «възревъ на икону самого Творца <...> и бе видети слезы его, лежащи на скранью (на щеках) его, *яко женчюжная зерна*» [10, с. 532, под 1168 г.]. Это уже чисто церковное влияние: ведь жемчуг, по сообщениям той же «Киевской летописи», служил украшением икон и церковной утвари.

В заключение скажем о начальной части «**Галицкой летописи**» (до статьи «По боище Батыево» под 1237 г.). Темы, мотивы и фразеологию «Галицкой летописи» в настоящее время внимательно, систематично и подробно обзрел А. А. Пауткин. Мы же добавим некоторые наблюдения именно над выразительностью повествования летописи в пределах статьи до татаро-монгольского нашествия.

Обращает внимание приверженность галицкого летописца к доведению качеств отрицательных персонажей и событий до максимальной степени их проявления. Вот крайне отрицательный персонаж: «*бе бо томитель бояромъ и гражаномъ и блудъ творя и окверняху жены же, и черници, и попадьи* — в правду *бе антихристъ за скверная дела его*» [10, с. 722, под 1205 г.] — антихрист! Вот крайне амбициозный персонаж: «прегордый, надеяся обяти землю, потребити море» [10, с. 736, под 1217 г.] — куда уж дальше. Вот крайне лживый персонаж: «*бе бо лукавыи льстець наречень и всихъ стропотливее <...> лъжею питаешся языкъ его <...> возложаше веру на лжюу, красяшеся лестью паче венца, лжеименець*» и т. д. [10, с. 748, под 1226 г.] — пропитан ложью.

Соответственно героически идеальными выступали у летописца положительные персонажи. Такими являлись, как хорошо известно, некоторые галицкие князья: «устремил бо ся бяше на поганья, яко и левъ; сердить же бысть, яко и рысь; и губяше, яко и коркодиль; и прехожаше землю ихъ, яко и орель; храборъ бо бе, яко и туръ» [10, с. 716, под 1201 г.]; «*бе бо дерзь и храборъ от главы и до ногу его, не бе на немъ порока*» [10, с. 744–745, под 1224 г.].

Чувства людей летописец показывал резко бросающимися в глаза. Например, под 1235 г. летописец нарисовал сразу две картинки. Радующиеся сторонники князя к нему «пустишася, яко дети ко отчю, яко пчелы к матце, яко жажущи воды ко источнику». А растерянность недругов князя была изображена сочетанием уничижительных деталей: «малодушна блюдящая <...> изиидоста слезнама очима, и ослабленомь лицемь, и лижюща уста своя» [10, с. 777].

Всеохватность гибели людей летописец тоже доводил до крайности настойчивыми перечислениями и повторами. Если победа над врагами, то полнейшая: «вси бо угре и ляхове убьени быша; а инии яти быша; а инии, бегающе по земле, истопоша; друзии же смерды избьени быша; и никому же утекши» [10, с. 738, под 1219 г.]. Если мор, то всеобщий: «сице умирающимь: инии же изъ подьшевь выступахуть, аки ис чрева; инии же, во коне, влезше, изомроша; инии же, около огня солезьшеся и мясь ко устомь придевоше, умираху; многими же ранами разными умираху» [10, с. 761, под 1229 г.].

Даже совсем мелкие эпизоды у летописца указывали на крайнюю напряженность ситуации: воин «добре борюшася, и сулицы его кроваве суши, и оскепищу исечену от ударения мечеваго» [10, с. 768, под 1231 г.]; «увернувся половчинь, застрели Уза во око, и спадию ему с фаря (коня)» [10, с. 737, под 1219 г.]; когда князю «в пиру веселяшася, одинь от техъ безбожныхъ боярь лице зали ему чашею, и то ему стерпевшу» [10, с. 763, под 1230 г.]. И т. д.

Почему галицкий летописец разными способами до предела усиливал качества людей и событий? Потому что реальность первой трети XIII в. стала гораздо конфликтней, чем раньше. Летописец это чувствовал и эмоционально признавал: «Начнемъ же сказати бесчисленья рати, и великыя труды, и частыя войны, и многия крамолы, и частая востания, и многия мятежи» [10, с. 750, под 1227 г.]; «скажемъ многии мятежь, великия льсти, бесчисленья рати» [10, с. 762, под 1230 г.]. Однако за пределы традиционного литературного творчества галицкий летописец так и не вышел.

Обзор четырех древнейших русских летописей указывает на общую причину эпизодического появления выразительных и изобразительных мест в рассказах летописцев: для XII – первой трети XIII вв. иногда действовал не принцип «когда пушки стреляют — музы молчат», а, напротив, принцип «когда стрелы стреляют — музы вдохновляют».

В заключение добавим замечание об одном гораздо более позднем влиянии реальных несчастий на выразительность летописных рассказов уже XV в. В отличие от традиционных указаний летописцев XII–XIII вв. на единодушие «всего» народа или «всех» людей по поводу печальных событий, летописцы в XV в. стали пространно пояснять, каким обширным являлся этот горящий «весь» народ, а главное — перечислять действия народа, производимые им сплоченно в один момент и в одном месте (плач, воздыхания, рыдания, воздевание рук и т. п. по поводу смерти князя, огромной военной опасности, бури или разразившегося голода). Беды и траурные церемонии большого многонародного государства теперь местами определяли настроение летописцев и летописный стиль. (Ср., например, «Софийскую вторую летопись» под 1395, 1421, 1460, 1534 гг.; «Новгородскую первую летопись» под 1445 г. и пр.)

2. «Житие Девгения»

«Девгениевым деянием» в древнерусском переводе занималось всего несколько ученых (наиболее основательно М. Н. Сперанский, В. Д. Кузьмина, О. В. Творогов). Но их больше интересовала древняя основа этого произведения, переведенного пред-

положительно в XI–XII вв. Однако «Девгениево деяние» дошло до нас только разными кусками в разных, притом очень поздних списках XVIII в., и мы обратим внимание на его позднюю литературную судьбу.

Мы рассмотрим список 1740-х гг. (РГБ, Тихонравов., № 399), а именно содержащееся в нем любопытное «Житие Девгения». Это, конечно, не житие, а только небольшой рассказ об охоте богатыря Девгения на зверей. Старых богатырских черт здесь немного: главный персонаж повести проявляет признаки богатырства уже с малых лет, проводит время в поле на удивительном коне, борется со львом.

В рассказ вкраплены уже русские детали, что вполне ожидаемо: упоминаются зайцы, лисицы, медведи, лось, снег, болото, трехголовый летучий змей, похожий на человека, да и лев назван по-русски — «зверь лютъ зело» [8, с. 44].

Но вот что неожиданно: Девгений у русского редактора повести (это не обязательно составитель сборника) расправляется с хищниками мгновенно и без всякого труда, как будто это черви или бумажные фигурки. Медведица: «Юноша <...> ея похвати и согну ея лактями, и все, еже бе во чреве ея, выде из нея» [8, с. 42]. Медведя «ухвати его за главу и оторва ему главу» [8, с. 44]. Лось: «догнавъ лося, похвати его за задние ноги, надвое раздра» [8, с. 44]. Лев: «Девгени же удари его мечемъ во главу и пресече его на полы» [8, с. 44]. «Змей великъ: «Девгений <...> мечь свой похвати <...> и 3 главы ему отсече» [8, с. 46]. Правда, потом мимоходом упоминается Девгениево «лице <...> от многого пота», но преимущественно «от зверинаго пота» [8, с. 44]. Сила же самого Девгения при этом никак не подчеркивается. Раз-два — и готово.

Объяснить такую «нарочность» богатырства Девгения можно отношением редактора к повествованию как своего рода облегченному кукольному действию. Действительно, в тексте редактор регулярно сообщает о том, что же можно увидеть как бы на сцене: «Видимъ юноши 14 летъ возрастомъ суца <...> «Видеше <...> твоего <...> красоты <...> кто не подивится? <...> На нь *зрети* — лице же его, яко снегъ, и румяно, яко червецъ, брови же черны имяше» и т. д. [8, с. 44]; «и то *видя*, чюдишася, како фарь (конь) под нимъ скакаше, а онъ велми на немъ крепко сидяще» [8, с. 46].

На «кукольность» повести указывают примитивные действия персонажей. Никаких раздумий, описываются исключительно те действия, которые можно показать у кукол: «начаста целовати его во усто, и очи, и руце» [8, с. 44]; «медведь <...> разверзь уста своя, хотя его пожрети <...> От рыкания жь медведя того голкъ великъ побеже» [8, с. 44]; «звер же <...> начать рыкати, и хвостомъ свое ребра бити, и челюсти своя разнемъ на юношу, и поскочи» [8, с. 44]. и пр.

Пояснения ситуаций в повести звучат как произносимые кукольником то за персонажа, то от себя: «И кликну ему стрый (дядя) к нему: “Чадо, стерегись, доколе не скочить на тебе медведь”» <...> И Амира-царь к сыну кликну: “Девгений, сыну мой, понеже лось бежить велми великъ” <...> О, чюдо преславно <...> Кто сему не дивится? Какова дерзность явись млада отрочати <...> И стрый рече ему: “Приди, чадо <...> Зде суть ины живы звер”» [8, с. 44].

Редактор, в сущности, изображал некую «игру», где Девгений «мечемъ *играше*» [8, с. 42]; и не только Девгений «всяческимъ оружиемъ *играше*», но и «кон же его <...> гораздъ *играти*» [8, с. 46]. Даже вода в источнике по-своему играет: «вода, яко свеща, светится» [8, с. 46]. И это все можно было показать в кукольном театре.

Наконец, намек на «игрушечный», кукольный характер действия, возможно, содержало в конце повести специальное добавление о том, как наряжены Девгений и его конь. «Ризы» Девгения: «верхни бяху червлени, сухимъ златомъ ткани; и предрукавие

драгимъ жемчюгомъ сажены; а наколенники его бяху драгая паволока; а сапоги его вси златы, сажены драгимъ жемчюгомъ и камениемъ магнитомъ; острожи (шпоры) его виты златомъ со измарагдом камениемъ»; «бысть же Девгениевъ конь белъ, яко голубь; грива же у него плетена драгимъ камениемъ; и среди каменя звонцы златы; и от умножения звонцовъ и от камней драгихъ велелюбезны гласъ исхождаше на издивление всемъ» и т. д. [8, с. 46]. Такова заключительная сценка как бы проезда Девгения перед зрителями «в дома своя». Богатство подобных красочных и звенящих нарядов, думается, легче всего можно было продемонстрировать именно на куклах.

Конечно, «Житие Дегения» вовсе не являлось записью кукольной постановки. Никаких, хотя бы косвенных, упоминаний о каком-либо театре, сцене или куклах в повести нет. Можно лишь предположить, что на редактора этой повестушки как-то повлияла изобразительная эстетика кукольного театра. Ведь «Житие Девгения» в сборнике 1740-х гг. появилось именно тогда, когда в царствование Анны Иоанновны кукольный театр стал модным в России. Если наше предположение верно, то мы обнаруживаем отнюдь не частый случай воздействия не литературы на театр, а, напротив, театра на литературу.

3. «Слово о Меркурии Смоленском»

Анализом «Повести о Меркурии Смоленском» второй половины XV – начала XVI вв. и ее редакций занимались, начиная с Ф. И. Буслаева, очень многие исследователи (в последнее время Н. В. Рамазанова, М. Б. Плюханова, О. Н. Бахтина, А. М. Ранчин). Главное направление их поисков — древность мотивов повести и ее житийные черты.

Мы в данной заметке ограничимся именно «Словом о Меркурии Смоленском», переписанном откуда-то в «Цветнике» 1665 г., и темой займемся иной — повествовательной манерой этого несомненно древнего «Слова».

«Слово» коротко и вызывает массу вопросов. Почему Меркурий молится не в церкви, а у какого-то креста? Почему Богородица призывает Меркурия к себе не непосредственно, а через некоего пономаря? Почему этот молодой человек должен победить Батюга? Почему Меркурию отрубает голову не враг, а посланный Богородицей воин? Почему отрубает голову не своим оружием, а оружием Меркурия же? Почему обезглавленный Меркурий не погибает сразу, а остается живым и несет свою голову в руке? Почему некая девица ругает безголового Меркурия, идущего по городу? Почему Меркурий умирает не перед церковью, а у каких-то городских ворот? Чей глас слышит городской архиепископ? Почему святой Меркурий три дня противился своему погребению? И т. д. и т. п.

Ответов на эти вопросы в самом «Слове» нет. Даже сами персонажи недоумевают. Меркурий удивляется поручению Богородицы разгромить Батюга: «И недостало ли ти небесныя силы, Владычице, победити злочестиваго царя?» [8, с. 206]. «Людие же, видевше такое, удивляющесея» [8, с. 206]. «Та же бысть архиепископъ в велице недоумении» <...> всю ношь безъ сна пребываше <...> да явить ему Богъ тайну сию» [8, с. 206]. Атмосферу таинственности («чюдо преславно» — [8, с. 208]) создает подобная сжатость изложения событий.

И действительно, повествование в «Слове» очень экономно. Характеристики действий персонажей минимально изобразительны — каждый раз лишь одно шаблонное сравнение: Меркурий «цветый преподобным житием <...> сияя бо, яко звезда»; «прехрабро скакаше по полком, яко орель по воздуху летая»; «благоухая, яко кипарис»

[8, с. 204, 206, 208]; Богородица «аки в солнечной зари ишедши» [8, с. 206]; Батый «кровь пролия, яко воду силну» [8, с. 204]. Эмоции персонажей обозначены так же кратко: Меркурий «бъше бо умилен душею и слезень <...> ужасень бысть <...> востужи и восплака» [8, с. 204, 206]; «Людие же бяху в велицей скорбе <...> умилно вопиюще с плачем великим и со многими слезами <...> бысть велий плачь в людех и рыдание» [8, с. 204, 206]; Батый «велиим страхом и ужасом одержим» [8, с. 206]. Наконец, позы главных персонажей указаны кратко же — каждый раз одной деталью: «виде пречистую Богородицу на злате престоле седяща»; Меркурий «паде пред ногама ея, поклонися» [8, с. 204]; «взем же пречистая Богородица в полу свою честно тело святаго»; «виде <...> святаго лежаща <...> почивающа» [8, с. 208] и пр.

Редактор «Слова о Меркурии Смоленском», по-видимому, сжато и бегло пересказал народную легенду о Меркурии (правда, мы не знаем, каков был текст этой предполагаемой легенды). Сжатие какого-то предшествующего изложения о необычных событиях неведомым и не слишком даровитым редактором повести и «сгустило» атмосферу загадочности происходившего, хотя о такой цели редактор нигде не оговорился.

Подобный способ эстетического использования сжатости изложения ведет нас к представлению о необычайности внешнего мира во второй половине XV – начале XVI вв. — к манере редактирования источников Ефросином, к «Сказанию об Индийском царстве», к «Видению хутынского пономаря Тарасия» и особенно к «Слову о Вавилоне», а также, может быть, и к тогдашнему «Прологу».

4. «Сказание об Аристотеле»

Переводное «Сказание о еллинском философе о премудром Аристотеле» совсем невелико и малоизвестно. После М. Н. Сперанского немного сказали об этой повести Д. М. Буланин и Т. В. Чумакова. Время создания столь скромного памятника остается неясным, но, по всей вероятности, не ранее и не позже XVI в., скорее всего, во второй трети XVI в.

Любопытно неожиданное описание внешности и привычек этого древнего Аристотеля: «Образ же имел возраста своего средний, глава его невелика, глас его тонокъ, очи малы, ноги тонки; а ходиль в разноцветном и хорошем одеянии, а перьстней и чепей золотых охочь был носити <...> А самъ умывался в судне маслом деревяным теплым», а еще не давал себе покоя, если «послабеет крепость плоти его» [6, с. 592] — судя по эпитетам, нарисован выразительный портрет изящного и заботливого модника, притом без авторских этических оценок по такому поводу.

Почему, как известно, в сильно сокращенном переводе с греческого или латинского источника русский редактор все-таки сохранил совсем неподходящий образ изящного персонажа? Думаем, вот почему. И именно в XVI в. таких новопоявившихся на Руси модников страстно порицал митрополит Даниил: «светло и мягко тело обьюхавъ <...> сапоги велми червлены и малы зело, яко же и ногамъ твоимъ велику нужу терпети отъ тесноты съгнетения ихъ <...> лице же твое много умываеши и натрываеши <...> благоуханиемъ помазавъ» [3, с. 19–20, слово 12-е]; «въ светлыхъ ризахъ <...> ухитренаа швеня <...> светлыми ризами украшатися <...> выше меры умыватися и натриватися <...> выше меры умывати руке, но и перстни златыя и сребреныя на персты твоя налагати» [3, с. 27–28, слово 13-е]; «возведении тонци брови» [3, с. 64, Слово к верным]. И т. д. Отношение к новой моде было разным. Недаром в «Сказании» упоминается, что «некий человекъ брань износя и хулы глаголаше ко Аристотелю» [6, с. 594].

Так что внимание русского редактора к изображению внешности и одежды изнеженного Аристотеля явилось редчайшим случаем воздействия непривычной, вопреки «Домострою», мужской-полуженской бытовой моды на древнерусскую литературу XVI в. Ср. женский мотив по поводу модников у митрополита Даниила: «угожая блудницамъ <...> Или весь хочещи жена быти?» [6, с. 19–20, слово 12-е]; «умь ихъ всегда плаваеть о ризахъ» [6, с. 31, слово 13-е].

Еще один возможный случай такого редкого влияния впечатления от новой мужской моды на литературу XVI в. находим в картинке мужской «пестроты» в «Казанской истории»: «И казанцы <...> в красныхъ ризахъ, и в зеленыхъ, и в багряныхъ одеявшеся, шапствовать пред катунами своими, яко во цветех польстихъ (полевых) различно красяхуся, другъ друга краснее и пестрее» [7, с. 322].

Может быть, нелишним будет еще одно предположение насчет связи «Сказания» с XVI в. Об отражении технических нововведений на Руси XVI в., например, часов, могло свидетельствовать в «Сказании об Аристотеле» предметное описание устройства будильника: изобретательный персонаж приготовил «яблоко меденое, а подь яблокомъ <...> ставил умывалницу великую медяную же <...> и выпадет то яблоко меденое <...> и падет во умывалницу; и учинится стукъ и звукъ от обоих сихъ» [6, с. 592]. Мода модой, но литературного таланта редактор «Сказания» не проявил.

5. Повести о взятии Царьграда турками и о разорении Рязани Батыем

Много неясного остается в истории создания «Повести о взятии Царьграда турками в 1453 году», хотя в течение полутора века ее исследовали уже более 20 ученых (см.: [14], в последние годы — Н. В. Трофимова, М. В. Мелихов, В. П. Ефименко). В настоящее время, кажется, преобладает мнение, что очевидец событий некто Нестор-Искиндер (так в рукописи) собрал свои записи о том, как велась осада и как пал Царьград, а на основе их неизвестный русский книжник, вероятно, в конце XV в. сочинил «Повесть» по стилистическим канонам древнерусских воинских произведений.

Для возможного объяснения этого явления рассмотрим риторические места «Повести» по списку РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 773 начала XVI в. (по датировке Леонида). Риторика автора «Повести» оказывается очень однообразной. Двойные (редко — тройные) словесные перечисления составляют ее основное стилистическое богатство.

Вот самое начало «Повести» об успехах цесаря: «начат укрепляти и разширяти <...> владети и рядити <...> на взыскание и изображение преславна и нарочита места» [5, с. 216]. Далее: «на утверждение и сохранение <...> предивны и достохвалны <...> праздники и торжества <...> хвалу и благодарение <...> заступи и съхрани и помилуй <...> наставляя и научая <...> человеколюбивая и милостивая <...> прославиться и возвеличиться <...> на взыскание и собрание <...> преславными и дивными <...> великими и неизреченными благодеянии и даровании» [5, с. 220, 222]. И т. д. и т. п.

Риторические удвоения и параллелизмы у автора относились не только к хорошему, но и к плохому: «тяжкесердно и нерадиво <...> злодеяния и безакония <...> согрешенми и безаконми <...> тмочисленными бедами и различными напастями» и пр. [5, с. 222].

Если же изложение становилось более фактографичным, то и тут автор не отказывался от двойных словесных сочетаний, правда, не таких экспрессивных: «стены и стрелници <...> улицы и площади <...> церкви божиа и двор царский <...> храмы святыхъ и дома мирския» и др. [5, с. 218, 220].

Мы привели примеры из начала «Повести», но подобная манера словесного удвоения использована автором и дальше — в рассказах об осаде и штурме Царьграда. Ограничимся только одним типичным эпизодом из многих: «день и ночь <...> в варганы и накры <...> пушки и пищали <...> кличуще и вопиюще <...> вопияху и кричаху <...> сурныя и трубныя <...> велиа и преужасна <...> от плача и рыдания <...> небу и зепмли <...> священником и дьяконом <...> ни гласа, ни послушания <...> в потоцех и на брезех <...> молбы и благодарение» [5, с. 226, 228].

Однако в дальнейшем, фактографическом повествовании об усилиях турок взять город автор уже относительно редко вставлял двойные словесные сочетания, — постоянно лишь о плачах и рыданиях греков. Фразами с такими сочетаниями обычно завершались воинские эпизоды: «страшно и жестоко видети обоих дръзость и мужества» [5, с. 248]; «разпадоша крепостию и истаяша мыслию, обяша бо их скорбь и печаль велиа» [5, с. 256]; «и кто о сем не восплачется и не возрыдает!» [5, с. 260]; «сице бываемым и тако съвршаемым» [5, с. 264].

Наконец, небольшое заключительное сообщение «Повести» о «писателе» Несторе-Искиндере опять наполнено парными сочетаниями: «многогрешный и незаконный <...> семо и онамо <...> в сем великом и страшном <...> дозрением и испытанием <...> испытах и собрах от достовръных и великих <...> преужасному сему и предивному <...> всемогущая же и животворящая <...> препрославлю и возблагору великолепно и превысокое <...>» [5, с. 266].

Нет сомнений, что подобные риторические парные сочетания были характерны для стиля древнерусских воинских повестей. Вероятно, сам автор выступил в качестве книжника-редактора первоначальных своих записей о ходе событий (Нестор-Искиндер пояснил: «писах в каждый день творимая деяния <...> от турков <...> и въкратце изложих <...> вся творимая деяния» греков. Правда, это только предположение, так как текста первоначальных записей Нестора-Искиндера у нас нет и сопоставить не с чем.

«Повесть о взятии Царьграда» уже существовала в конце XV в., судя по ее отрывку в рукописи РНБ, Q.IV.544 последней четверти — конца XV в. (по датировке С. Н. Азбелева), а ее дальнейшая активная переписка и редактирование в течение первой половины — середины XVI в. показывают, помимо прочего, что она как продукт своего рода «ремесленный» появилась накануне бума редактирования и книжной sprawy на Руси.

В общем, факторами древнерусского литературного творчества могли служить самые разные явления и события жизни. Но для их действительно выразительного и «незатертого» отображения в слове необходима была не книжная эрудиция автора, а литературный эмоционально-изобразительный талант, хотя бы небольшой, хотя бы эпизодически проявляющийся в те времена, когда художественное творчество не было востребовано.

Сопоставим, например, с «Повестью о взятии Царьграда турками» родственную ей по теме и стилю **«Повесть о разорении Рязани Батыем»**. Между ними полтора века: «Повесть о разорении Рязани» была составлена в 1560 г., а ее самый ранний дошедший до нас список относится к 1573 г. (по датировкам Б. М. Клосса). Автор «Повести о разорении Рязани» использовал целый ряд выражений из «Повести о взятии Царьграда», но эстетически «Повесть о разорении Рязани» уже сильно отличалась от своего источника, особенно в эмоционально-образном отношении.

Взгляд автора «Повести о разорении Рязани» был направлен преимущественно на землю, на ровное поле, на то, что там лежит, на трагедию, там произошедшую: «Бла-

говерная княгиня Еупраксеа <...> ринуся из превысокаго храма <...> на среду земли и заразися до смерти» [8, с. 186]; «тело его *повреши* зверем и птицам на разтерзание» [8, с. 186]; «вси вкупе мертвии *лежаща* <...> множества народа *лежаща*» [8, с. 188, 190]; «множество много мертвых *лежаща*» [8, с. 192]; «*лежаща на земли, яко мертвь* <...> *лежаща на земле пусте, на траве ковыле*, снегом и ледом померзоша, никим брегома» и пр. [8, с. 194]; «*лежите на земле пусте* <...> во истлении» [8, с. 196]; «о земля, о земля, о дубравы, поплачите со мною!» [8, с. 196]; «град Резань <...> видета — токмо дым и *пепел*» [8, с. 194].

В «Повести о взятии Царьграда турками» нет такого «полевого» художественного мотива, а лишь регулярно мимоходом как факт упоминаются рвы, наполненные трупами, а упоминаемые стены Царьграда — основное место воинского противостояния — не овеяны авторским настроением.

Предметность воображения автора подтверждают частые пояснения в повести о том, что же видят на земле персонажи: «зря на блаженое тело», «видя <...> мужественны ездяше» [8, с. 186]; «видяше, что <...> мужественно бьяшеся», «видя <...> убиение брата своего», «видя свои полкы мнозии падоша», «видя князя <...> велми красна» [8, с. 188]; «виде град разорень» [8, с. 190; 192]; «видя <...> крепка исполина»; «зря на тело Еупатиево» [8, с. 192]; «видя <...> велия трупиа мертвых лежаща» [8, с. 194]; и т. д. и т. п.

В «Повести о взятии Царьграда», хотя она почти в четыре раза больше «Повести о разорении Рязани», глаголы «видети» или «зрети» употреблялись гораздо реже, притом нередко в абстрактном значении «понимать что-либо» или «узнать о чем-либо».

Кроме того, более острой эмоциональностью автор «Повести о разорении Рязани» отличался от рассудительного автора «Повести о взятии Царьграда». В период усиления церковной цензуры произведений автор «Повести о разорении Рязани Батыем», как мы предполагаем, обладал, так сказать, предметным, «земным» воображением, хотя такое направление таланта проявилось не так уж сильно на фоне повторения автором традиционной «воинской» манеры повествования. Проявиться подобной наклонности, вероятно, помогло то, что патриотическое общественное возбуждение в середине XVI в., наверное, стало сильнее, чем в конце XV в.

Исследователи древнерусской литературы тоже ищут таланты. Но остается вопрос, как сделать это убедительным.

6. «Хронограф 1512 г.

«Хронограф 1512 г.» в достаточной степени изучен с текстологической и исторической точек зрения, но гораздо меньше как получившееся литературное целое. Об особенностях хронографического стиля известно уже давно. Но вот какова общая эмоциональная настроенность этого памятника?

В «Хронографе 1512 г.», составленном на самом деле не ранее 1516 г. и не позднее 1522 г. (по датировке Б. М. Клосса), т. е. после походов крымского хана Мухаммед Гирея на пограничные города России в 1515 г. и на Москву в 1521 г., преобладают, по нашему мнению, трагические повествовательные мотивы (см.: [2]).

К прежним нашим наблюдениям на этот счет добавим заметку о сравнительно оригинальных, нетрадиционных, притом обычно неприятных изобразительных картинках в «Хронографе», которых, к сожалению, как и во многих других древнерусских произведениях, очень мало, но для историков литературы, тем не менее, ценных даже в единичных случаях.

Неприятных и трагичных картинок в «Хронографе 1512 г.» примерно три вида по содержанию. Это, во-первых, изображение поведения крайне недостойных правителей. Так, ассирийский царь Сарданапал отвратительно женообразен: «яко жену сотвори себе <...> почерняше вежда своя, и острижаше браду свою до самыя кожа, показаваше лице свое помазано псимифомъ (белилом) <...> теплыми банеми красяся и мягкими одеждами <...> узре его помазана белиломъ» и пр. [12, с. 150, гл. 68]. Ясно, что это изображение продиктовано этическими соображениями и резким чувством отвращения: такой царь «живяше скверне <...> недостойна дръжаве, срамоту себе вмени» и т. д.

Второй вид трагических картинок – неожиданными унижительными способами убийство либо ранение правителей и начальников — тоже создан на этической основе возмущения злодеями. Византийский царь Коньста: «мыющуся ему теплыми водами, единъ отъ престоющихъ ему удари его кадию во главу, и тако умре» [12, с. 310, гл. 146] — этот «злочестивый» царь «корение храня лукавое изначала», «убивъ <...> брата своего» и мн. др. [12, с. 309]. Некий начальник по имени Юнец: во сне ему явился святой Стефан Сербский и «удари его лампадою по лицу и по персехъ. И отъ зелнаго ударения преломися лампада <...> святой же <...> отставшимъ отъ лампы, яко же копиемъ, удари посреди лядвий, и въ хребеть, и в десную мышцу»; и уже у Юнца «согневающимъ плотемъ же и костемъ прободеныхъ мечь, яко же и внутренимъ зретися, языку отпадшу и зубомъ» [12, с. 408, гл. 198] — а все изображение возникло потому, что Юнец «съ буестию» «мучаше игумена и братию и ничто же имъ на потребу даяще, но вся отъять, и себе усвои».

Соответственно, если злодеями являлись убийцы, а не их жертва, то изображались возмутительные звероподобные злодеи: когда византийский царь Роман Аргиропул, «мужь премудрь и благочестивъ», отказавшийся от женщин, «плоть упокоевающу банею и утешающу, мужие неции, радующею злу, убиствене нападше и удавивше его, яко змиа, обвившесе о выи его» [12, с. 371, гл. 180].

Наконец, третий вид трагических картинок: изображение мучительной болезни или казни положительного персонажа. Таков, например, был византийский царь-эпилептик Михаил Пеплагонянин: «множицею бо на землю без гласа пометашесе, пены теща изо усть и слины точка, устне имея сини, и очи развращены, и гласы испущаа злы и неподобны, яко овча <...> биаше главу свою о стену, яко чюждю» [12, с. 371, гл. 181]. Причина создания картинки — жестокое нападение невидимого беса: царь «сотерьзашесе <...> лютою удавою бесовскою <...> бесомъ боримъ» Или: юного царского сына «о прагъ удариша, точно щеньцу, и составы главныя сломиша, яко пшеницу; течаше же мозгъ его низу – вещь, устрашающи зракъ» [12, с. 314, гл. 152].

Трагическими и грозными мотивами был наполнен весь «Хронограф 1512 г.». Исключение составляют идиллические картинки новосозданной земли и рая в начале памятника, но и то упоминаются многочисленные явления все-таки не добрые: «небо <...> видимое <...> яко ледъ» [12, с. 22, гл. 1]; птицы «яко стрелы, нокте протяжающе, остры клюновы имуще паче ножевъ <...> суровоядьцы» [12, с. 23, гл. 1]; «рыбица, глаголаху ехиний, тако ставить великий корабль и держить, яко не поступити ему долго никамо же»; птица, глаголемаа сиринь <...> егда услышитъ того человекъ поюща, забываетъ вся сущаа zde и въ следъ его шествуетъ, дондеже, изнемогъ, падъ, умираеть» [12, с. 25, гл. 2]; в раю «приползе же змий лютый и свисташе лукавне» [12, с. 26, гл. 2] и т. п. Зло все время сторожит людей.

Кончается древнейшая история человечества великим потопом, грандиозной отчаянной картиной наказания за великия же грехи: «зверие убо носими бяху мертви

потоплени; человекъ же <...> телеса ихъ, яко корабль, паче же яко прахъ, на водныхъ плещахъ легко ношахуся» [12, с. 29, гл. 5].

Дальнейшая послепотопная история приправлена всяческими ужасами как наказаниями: «весь песокъ земный бысть вошию» [12, с. 62, гл. 19]; «львица, имуща крыле, яко орли <...> простре крыле, и истръгошеса пера еа, и въздвижеса отъ земля, и на ногу человекю ста» [12, с. 172, гл. 86] и мн. др.

Конечно, «Хронограф 1512 г. по дошедшему до нас списку 1538 г. — это гигантская компиляция, но накопление в нем трагических мотивов, пожалуй, не было чисто случайным, а отразило минорные настроения составителей памятника в период острой борьбы боярских кланов, идеологических споров и обострившейся внешней опасности. Недаром заключительная глава «Хронографа» в списке 1538 г. о взятии Царьграда турками содержала не только авторские скорбные восклицания типа «запечатлети злый грехъ, увы мне» [12, с. 437, гл. 208], но и горестные ссылки на современность составителей «Хронографа»: «ныне видети есть царствующий градъ (Царьград) погранъ, и раскопанъ и пожжень огнемъ, и всемъ благочестивымъ умилено и слезамъ достойно видение <...> яко же садъ оцененель мразомъ зимы лютыа и увядъ» [12, с. 438]. Больше того, составители переживали за Россию: «да не будемъ, яко же Содомъ и не уподобимся Гомору <...> во тьме неверныхъ властей» [12, с. 439]. Несчастья порождали картинность даже в компиляциях.

7. «Повесть о Горе-Злочастии»

Об одном из самых ярких, даже, можно сказать, ярчайших шедевров древнерусской литературы — «Повести о Горе-Злочастии» — за полтора века учеными написано немало ярких же работ — Ф. И. Буслаевым, А. Н. Пыпиным, В. Ф. Ржигой, В. И. Малышевым, Б. Н. Путиловым, Д. С. Лихачевым, А. М. Панченко, Л. И. Алёхиной и др. При всем том историко-литературная характеристика этой повести пока далека от исчерпанности хотя бы потому, что многочисленные, просто бесценные для нас изобразительные мотивы в произведении (несмотря на дефектность единственного дошедшего списка) еще предстоит исследовать, чтобы понять особенности авторского мироощущения и своеобразие авторского взгляда на соотношение хорошего и плохого в жизни.

К обозначениям хорошего и плохого автор «Повести» сознательно прибегал при каждом удобном случае, постоянно и многократно: упоминал зло («зла не думай», «от всякого зла», «злу не доставили» [13, л. 424 об.]) и упоминал добро («добру божливи», «на добро учения» [13, л. 423 об., 431]); считал одних персонажей злыми («зло племя человеческо» [13, л. 423], «зло то Горе», «злое Горе <...> что злая ворона» [13, л. 429, 432 об.]), а других персонажей называл добрыми («люди добрыя» [13, л. 426 об. — 428, 432 об. — 432]; «доброй молодець» [13, л. 427, 428, 432–432 об.]; «добрых красных женъ» [13, л. 424]); даже разного рода дела и состояния автор определял как добрые или злые («добрыя дела», «пословицы добрыя» [13, л. 424], «въ славе доброй» [13, л. 432], «безъживотие злое <...> злую немерную наготу и босоту» [13, л. 432 об.], «во зломъ злочастии», «злое злочастие» [13, л. 429, 429 об.] и т. п.).

На что было употреблено это деление на добро и зло? Автор «Повести», по видимому, исходил из пессимистического, даже **трагичного представления** о том, что все хорошее всегда подпорчено. В этой связи знаменательна противоречивость деталей в характеристиках персонажей. Так, в начале «повести» автор отметил, что «будеть Молодець в разуме, въ беззлобии» [13, л. 424]; но тут же разоблачительно уточнил, что «Молодець был в то время се мал и глупъ, не в полномъ разуме и несовершен разумомъ» [13, л. 424 об. — 425].

В начале же «Повести» родители поучали Молодца о том, как жить; первая их заповедь: «Не ходи, чадо в пиры и в братчины»; и сразу же вслед за этим: «не садися ты на место большее, не пей, чадо, двух чар за одну» [13, л. 424], — значит, родители допускали, что чадо может и нарушить их завет, прийти на пир, напиться, лечь в какое-то «место заточное», быть ограбленным и т. д. Затем родители запрещали Молодцу: «Не дружися, чадо, зъ глупыми немудрыми», с теми, кто занимается грабежом; но родители продолжили наставления: «не думай украсти-ограбити» [13, л. 424 об.], — значит, допускали, что Молодец все-таки может подружиться с «глупыми-немудрыми» и подумывать о грабеже. Словом, автор и хотел бы, чтобы Молодец был во всем хорош, но что-то не заладилось с самого начала.

Всюду сквозил подвох. Двусмысленность деталей у автора «Повести» при восхвалении хорошего подкреплена авторскими характеристиками и «людей добрых» — в двух эпизодах произведения, когда Молодец посещает этих учителей жизни. Главное качество «людей добрых», которое подробнее всего показал автор «Повести» в первом же эпизоде, это их материальная обеспеченность: у них «двор, что градъ, стоитъ; изба на дворе, что высокъ теремъ; а в избе идетъ великъ пир почестень; в их «избе» висят прекрасные иконы, и Молодец кланяется «чюднымъ образумъ»; стоит добротная мебель, так что Молодца сажают «за дубовой столь»; на пиру вволю «пьють, ядятъ, потешаются» [13, л. 426 об.].

Но, как можно выяснить из текста «Повести», не так уж «великъ» и «почестень» пир, так как проходит он всего-то «в избе». Гости заняли места «по отчине», но упоминание автором того, где кто сидит, указывает и не на такой уж высокий статус собравшихся: «место среднее, где сеять дети гостиные» позволяет представить возглавляющих «большее место» — это купцы, наверное; а место «меньшее» занимают те, кого к пречестным участникам и причислить нельзя, — «милые дети» и какие-то «глупые люди немудрыя». Хотя реалии довольно забубенной пирушки автор «Повести» сопровождал облагораживающими фольклорными эпитетами, однако все эти «чудные образа» на стенах и «дубовые столы» в избе, возможно, были не более чем традиционной условностью. Богатство «людей добрых» не такое большое, каким может показаться.

Неоднозначно авторское изображение и поведения самих «людей добрых». С одной стороны, «люди добрыя» у автора демонстрируют верх любезности: когда Молодец пришел к ним, то «емлють его люди добрыя под руки» [13, л. 426 об.]. Они же настойчиво разъясняют Молодцу принятое у них главное правило жизни — смиренная доступность: «не буди ты спесивъ <...> смирение во всемъ имей и ты с кротостию <...> то тебе будетъ честь и хвала великая <...>ю за твое смирение и за вежество» [13, л. 428].

Но, с другой стороны, автор показал этих любезных «людей добрых» не так уж легко доступными. Они посадили Молодца за стол только тогда, когда убедились в его подчеркнуто старательном «вежестве»: «крестил онъ лице свое белое <...> бил челомъ онъ добрымъ людем на все четыре стороны; а что видять Молотца люди добрые, что гораздъ онъ крестится, ведет онъ все по писанному учению» [13, л. 426 об.]. В наставления «людей добрых» об обязательной обходительности поведения вдруг вкрадывается инородный элемент — настояние о необходимости замкнутости: «а чюжих ты дель не обявливай; а что слышишь или видишь, не сказывай» [13, л. 428]. Наконец, «люди добрыя» не оставили раскаявшегося Молодца у себя (как можно было бы ожидать по традиционному ходу сюжета о путнике-госте), а сослались на то, что его какие-то другие «люди отведаютъ», и Молодец ушел. Кстати говоря, во втором эпизоде «люди добрыя» хотя тоже «напоили-накормили» и одели Молодца, но тут же от него отделались:

«ты поди на свою сторону» [13, л. 432]. «Люди добрыя» не совсем то, чем кажутся сначала, по авторскому ощущению, они не только строгие, но даже черствые.

Представление о движении хорошего к плохому автор отчетливо подтвердил в многочисленных сюжетных линиях «Повести», когда хорошее неизменно заканчивалось плохим и почти никогда не наоборот. Такова, например, жизнь Молодца. Хотя родители учили Молодца только хорошему, и ему было обещано все хорошее («не будет тебе нужды великия, ты не будешь въ бедности великою»; «в радост себе, и въ веселие, и во здравие» [13, л. 424, 425]), все переменилось к плохому; и Молодец подчеркнул мотив неблагоприятных перемен: родительское «благословение мне от них *миновалось* <...> все имение и взоры у меня *изменилися*, отечество мое *потерялося*, храбрость молодецкая от мене *миновалось*; это лейтмотив «Повести»: Молодца постигли «бедность <...> скудость, и недостатки, и нищета последняя», — «великия многия скорби неисцельныя и печали неутешныя» и т. д. [13, л. 427 об.]. Вся «Повесть» насыщена конкретными деталями резких перемен к худшему в одежде, внешности, действиях и окружении Молодца. И ожидаются даже в будущем еще более худшие катастрофы в судьбе Молодца: «хотя в синее море ты поидешь рыбою <...> быть тебе, рыбонке, у бережку уловленои, быть тебе да и съеденои, умерети будетъ напрасною смертию» [13, л. 433–433 об.].

Глубокое это было чувство. Авторским представлением о неуклонной смене хорошего плохим отягощено повествование о поведении буквально всех остальных персонажей произведения: например, «мил надежень другъ назвался Молотцу названои братъ» [13, л. 425], да и жестоко обманул Молодца; все прочие друзья — не лучше: «наживал Молодецъ пятьдесят рублевъ — залезъ онъ себе пятьдесятъ друзей <...>. Какъ не стало деньги, ни полуденги, — такъ не стало ни друга, ни пол-друга» [13, л. 425, 426].

В «Повести о Горе-Злочастии» нет персонажей, даже самых мимолетных, на которых не была бы брошена тень. Вот, например, вне подозрений должна быть любимая невеста Молодца, которую он присмотрел себе «по обычаю» [13, л. 428 об.]. Однако Горе-Злочастие пытается внушить сомнения Молодцу: «Откажи ты, Молодецъ, невесте своей любимой. Быть тебе от невесты истравлену, еще быть тебе тое жены удавлену, из злата и сребра бысть убитому» [13, л. 429 об.]. Хотя этому предупреждению Молодец «не поверовал», но он так и не женился. Авторское ощущение безжалостной смены добра на зло, вероятно, присутствовало и в данном эпизоде (тем более что Горе при этом побуждает Молодца ни о чем хорошем не жалеть: «*Не жали* ты, пропиваи свои животы» и пр.).

И все же встречается в «Повести» ситуация, когда действие, вопреки обычной авторской логике, развивается как будто от плохого к хорошему. Молодец в очередной раз идет «на чужу страну далну незнаему. На дороге пришла ему быстра река, за рекою перевозчики <...> не везуть Молотца безденежно» [13, л. 430]; но потом перевозчики смилостивились: «перевезли Молотца за быстру реку, а не взяли у него перевозного» [13, л. 432]; а там «люди добрыя» напоили-накормили оголодавшего Молодца. Но оказалось, что доброту перевозчиков и заодно «людей добрых» предсказало Молодцу именно Горе в обмен на его покорность: «поклонися мне, Горю, до сыры земли <...> и ты будешь перевезень за быструю реку, напоить тя, накормят люди добрыя» [13, л. 430–431 об.]; это в точности и исполнилось, Доброта была оказана отнюдь не «доброму» человеку и по наводке дальновидного Горя, которого никого «нетъ <...> мудря на семь свете» [13, л. 431 об.]. Переход от плохого к хорошему стал зыбким.

Авторская неуверенность в хорошем сохранялась буквально до последней фразы «Повести», когда автор в заключение упомянул своих современников — «нас». Этот редкий собирательный персонаж был еще упомянут только в начале «Повести»: Бог «все смиряючи *насъ*, наказуя и приводя *нас* на спасенный пут[ь]» [13, л. 424]. Что же будет с «нами»? Конец «Повести» отвечает на вопрос: «Избави, Господи, вечныя муки, а даи *намъ*, Господи, светлы раи» [13, л. 433 об.], — то есть автор подразумевал возможность обоих вариантов для «нас»: и «вечной муки», и «светлого рая»; в хорошем уверенности не было: «человеческое сердце несмысленно и неуимчиво» [13, л. 423].

Все окончательно безнадежно. Автору был свойствен горький **сарказм**. «Повесть» насыщена ядовитыми высказываниями, в сущности, отрицающими наличие реально чего-либо хорошего, — хорошее на самом деле является плохим. Так, Молодец парадоксально отозвался о своей жизни: «Житие мне Богъ дал *великое*: ясти-кушати стало нечево» [13, л. 426], — великое житие, то есть голодное. Далее саркастически же сообщается, какую жизнь Молодцу прочит Горе: «научаетъ Молотца *богато* жить: убити и ограбити, чтобы Молотца за то повесили или с каменемъ въ воду посадили» [13, л. 433 об.], — богато жить, то есть быть казненным. Горе лживо внушает Молодцу: «На себя что купить, то проторится, а ты, удал Молодецъ, *такъ живешь*», — хорошую жизнь составляют «нагота, и босота безмерная, легота, безпроторица великая» [13, л. 429 об.]; и Молодец соглашается с подменной: «Когда у меня нетъ ничево, и *тужить* мне *не о чемъ*» [13, л. 431 об.], — беззаботная жизнь, то есть нищенская. Когда Молодец покорился Горю, то «запелъ онъ хорошую напевочку от *великаго крепкаго разума*» [13, л. 431 об.], — саркастичность этого авторского замечания несомненна: крепость разума — это в действительности слабость разума. Молодец сам определил суть своей жизни: «что мне быти *белешенку*, а что родился *головаенкою*» [13, л. 432], — белое оказалось черным.

Или, например, Горе хвалит перед Молодцем свою родню и себя: «А вся родня наша *добрая*, все мы гладкие-умилные. А кто всемъ к нам примешается, ино тот между нами замучится» [13, л. 432 об.], — ясно, что Горе издевательски переосмыслило эпитет «добрый», — ведь, кстати говоря, само Горе в «Повести» вовсе не выглядит упитанным, гладким-умильным: «серо Горе горинское» [13, л. 429], «босо-наго, нетъ на Горе ни ниточки, еще лычкомъ Горе подпоясано» [13, л. 430 об.].

Веселым сарказмом отдает и мотив фальшивого богатырства и молодецкости главных героев. В качестве образцового собрания «настоящих» богатырских мотивов в повестях XVII в. сошлемся на «Повесть о Еруслане Лазаревиче». Ведь «Повесть о Горе-Злочастии» содержит большое количество фразеологических параллелей с предшествующей ей «Повестью о Еруслане». Мы ограничимся только двумя эпизодами.

Когда Горе реально появилось перед Молодцем, то оно как бы превратилось в богатыря и «*багатырскимъ голосомъ* воскликано: “Стои ты, Молодецъ, меня, Горя, не увидешь *никуда*”» [13, л. 430]. Параллели находим в «Повести о Еруслане», где неоднократно рассказывалось, что богатырь Еруслан «*кликнул багатырскимъ голосомъ*». Содержание грозной речи Горя сходно с речью другого богатыря в «Повести о Еруслане» — «Вольного царя, Огненнаго копья, Пламенного щита», который грозил Еруслану: «и ты у меня не *уйдешь никуда*» [9, с. 315].

Молодец реагировал на речь Горя, как на речь богатыря: «*видит* Молодец *неменуую*, покорился Горю...» [13, л. 431 об.]. Аналогия в «Повести о Еруслане»: речь Еруслана выслушивает «*князь Иванъ, руской богатырь <...> И *видитъ* князь *неминуую* беду*» и подчиняется Еруслану [9, с. 306].

Однако проявления богатырства Горя на самом деле выглядели даже комически в этом эпизоде, где Горе предстало совершенно босым и нагим.

То же скептическое отношение автор «Повести» выразил и к якобы богатырским деяниям Молодца. Вот «от сна Молодец пробуждается»; и далее: «И вставал Молодец на белые ноги, учаль Молодец наряжаться: обувал он... надевал он... покрывал онъ свое тело белое, умывал онъ лице свое белое... Самъ говорить таково слово... Пошелъ онъ на... страну далну...» [13, л. 425 об. – 426 об.], — так богатырь снаряжается в поход. Ср. «Повесть о Еруслане», где Еруслан пробуждается, встает, умывается, «а самъ говорить таково слово» [9, с. 302, 303] и едет в дальнюю землю (сходство тут лучше видно в так называемой «восточной» редакции «Повести о Еруслане»).

Но на самом деле снаряжение Молодца самое ничтожное: он пробуждается после пьянства, с него «все слуплено», он обувает «лапотки-отопочки» и надевает «гунку кабацкую»; ему «срамно»; скрываясь от позора, он уходит куда-то далеко и не без боязни — «на чюжу страну, далну, незнаему». Богатырство обернулось жалкостью.

И далее в «Повести» можно найти только скрыто насмешливые упоминания о молодецкости Молодца. Так, Молодец поминает свою «храбрость молодецкую», но в том смысле, что она от него «миновалася» [13, л. 427 об.], хотя ни о каких прошлых проявлениях молодецкой храбрости в «Повести» не рассказывалось. Упоминается и «хвостан[ь]е молодецкое» [13, л. 428 об.], но, увы, не богатырско-воинское, а хвостовство «своим богатством». Молодца называют «удалым», но, оказывается, за его наготу-босоту [13, л. 430]. «Вставал Молодец на скоры ноги» [13, л. 430 об.], но какие же они скорые, если «уже три дни <...> не едал <...> Молодец ни полукуса хлеба» и хочет утопиться в реке; в этом состоянии он поет «молодецкую напевочку» [13, л. 432], но не храбрую, а жалобную по содержанию. В конце «Повести» «полетель Молодец яснымъ соколомъ» [13, л. 433], — но это он не напускается на врага, а бежит от него. Вся молодецкость Молодца тут же отвергается контекстом. Ничего хорошего вовсе и нет.

Чем объяснить разочарованность автора «Повести»? В целом, различные оттенки в эмоциональном авторском представлении о неизбежном поглощении хорошего плохим были обусловлены широким горьким философическим убеждением автора об **обманчивости** почти всего в этом мире. И действительно, автор неуклонно повторял в «Повести» мотив обмана, лжи, прельщения, неправды и лукавства. По авторской мысли, эта беда началась еще с Адама и Евы: «*прелстился* Адамъ со Евою» [13, л. 423]; а затем «зло племя человеческо в начале пошло <...> к советскому другу *обманчиво*» [13, л. 423 об.]; потом и Молодца «мил надежень другъ <...> *прелстил* его речми *прелесными*» [13, л. 425], и Молодец принялся за «*лестное* питье пьяное» [13, л. 427 об.]; несмотря на то, что на Молодца был обрушен целый вал предостережений («не думай <...> *обмануть-солгать* и *неправду* учинить; не *прелцайся*, чадо, на злато и серебро <...> [не] буди послух *лжесвидетелству*»; «не *лсти* ты межъ други и недруги <...> не веися змиею *лукавою*» [13, л. 424 об., 428], в конце концов он пал жертвой лукавства же: на него «Горе *излукавилос*» [13, л. 429, 429 об.].

Самым полным воплощением обманчивости у автора явилось Горе-Злочастье. У него много обликов в «Повести». Горе напоминает скрытного призрака. Оно хочет «в людех жить», но не может просто так среди них появиться; оно, незримо находясь где-то, лишь подслушивает речи Молодца и задается странным вопросом: «Какъ бы мне Молотцу появиться?», а потом только «во сне Молодцу привиделос» [13, л. 129];

и вторично — во сне; и в третий раз — не при свете дня, а когда «день до вечера миновался» [13, л. 430 об.]. Горе напоминает и нечистую силу при третьем своем появлении, — судя по приложенному к нему эпитету (Горе предлагает: «Покорися мне, Горю *нечистому*», и Молодец «покорился Горю *нечистому*» [13, л. 430–431 об.]). Наконец, Горе напоминает и оборотня: то во сне Молодцу оно явилось архангелом Гавриилом; то, вероятно в сумерках, «у быстры реки скоча Горе из-за камени» в виде какого-то полностью обнаженного существа [13, л. 430 об.]; то во время своего четвертого явления Молодцу, уже на чистом поле, Горе «учало над Молодцемъ гратьи, что злая ворона над соколомъ» [13, л. 432 об.], потом полетело «белымъ кречатомъ» и «серымъ ястребомъ», затем предстало, быстро меняя обличье, то в облике охотника «з борзыми вежлецы», то в облике косаря «с косою вострою», то вообще в виде группы рыбаков «с щастыми неводами» [13, л. 433].

Горе-Злочастие у автора иногда вдруг как бы раздваивается на два отдельных существа, ведущих себя каждое по-разному: например, некоторые люди с Горем «боролися», «от них Горе миновалось, а Злочастие на их въ могиле осталос» [13, л. 429]; похожее происходит и далее: «то Горе избудетца, да то злое Злочастие останетца» [13, л. 429 об.]. И тут же Горе говорит о себе как о сдвоенном существе: «А мне, Горю и Злочастию, не в пустеже жить» [13, л. 429]. А потом Горе снова сливается в целое и предстает уже, скорее, как одно и то же существо с разными названиями: «А Горе пришло с косою вострою, да еще *Злочастие* над Молодцемъ насмиялося» [13, л. 433]. Горю свойственна зловещая многоликость, изощренная изменчивость — этим Горе многих людей и «перемудрило» [13, л. 429].

Обманчивость именно всей **жизни** утверждал автор. Ф. И. Буслаев справедливо считал, что главной темой «Повести» являлась жизнь русского человека вообще. Слова «житие» и «жити» автор необычайно часто повторял с самого начала и до самого конца «Повести о Горе». Особенно настойчиво мысль о «житии» автор подчеркнул по поводу своего главного героя — Молодца. О том, что «Повесть» посвящена именно «житию» Молодца, автор сказал, завершая произведение: «А сему *житию* конец мы ведаемъ» [13, л. 433 об.], — под словом «житие», разумеется, понималась жизнь Молодца, а не жанр произведения. О внимании автора к «житию» Молодца свидетельствовали многочисленные возвращения к этой теме в тексте «Повести»: Молодец высказывался о том, какое «*житие*» ему дал Бог [13, л. 426] и чем он недоволен от своего «*жития*» [13, л. 430 об.]; Молодцу советовали вспоминать «*житие свое*» [13, л. 431]. Автор «Повести» развернул целую историю о жизни Молодца, пояснив, как Молодец «хотель *жити*» [13, л. 425, 431], но спрашивал: «какъ мне *жить*» [13, л. 428]; его учили, как ему «жить», и старались на «дела наставлятъ» [13, л. 424, 431, 433 об.]; и успокаивали: «и такъ *живеи*» [13, л. 430]; и Молодец справился: «учаль онъ *жити* умеючи» [13, л. 428 об.].

Автора «Повести», естественно, интересовала жизнь и других персонажей, однако в гораздо меньшей степени. Так, однажды автор изложил рассуждения Горя, как оно хочет «в людех *жить*» [13, л. 429]; или напомнил историю а и Евы — как Бог «повелель имъ *жити*» [13, л. 423], и посетовал на то, как «учали *жить*» последующие роды человеческие [13, л. 423 об.].

В общем, представление об обманчивости «жития» людей, в первую очередь его современников, и было главным у автора «Повести о Горе-Злочасти», выраженным в образах, сюжетах и предметных деталях. Это не философия автора, а его мироощущение.

Ощущение обманчивости жизни роднит «Повесть о Горе-Злочастии» в первую очередь с сатирическими и юмористическими произведениями XVII в., но автором «Повести» подобное трагическое чувство было выражено несравненно талантливее, богаче, полнее и острее.

В дополнение к сказанному о талантливости автора обратимся к **художественным мирам** в «Повести о Горе-Злочастии». Их, по крайней мере, пять. Первый мир — святой. Упоминания о нем лишь обрамляют «Повесть». Это в самом начале «Повести» святой рай с едемским деревом и его плодами, а в самом конце «Повести» это святые ворота какого-то монастыря и опять же будущий светлый рай.

Второй мир — земной, человеческий, хороший, но крайне отрывочно обрисованный «Повестью». Это мир зажиточных «добрых людей», которые, как уже было сказано, кормятся от своих трудов, женятся и имеют любимых детей и надежных друзей, обширный двор и высокий терем, одеты в дорогие порты, и веселятся, но ведут себя со смирением и с «вежеством».

Третий мир — самый большой и всеподавляющий, мир пьяниц и преступников. Эти люди не слушают своих родителей, ходят по кабакам с такими же друзьями, упиваются допьяна, пропивают все свои деньги и имущество, наги и босы, не прочь украсть, убить и ограбить; и т. д. и т. п.

Четвертый мир — мистический зловещий мир серого нагого Горя-Злочастиа, которое управляет бражниками и доводит их до могилы, и предпочитает являться обреченным людям во сне или в вечерней полутьме.

Наконец, пятый мир — это неожиданный архаический мир оборотничества, когда наяву последовательно превращается Горе, как уже говорилось, в злую ворону, в белого кречета, в серого кречета, в охотника с собаками, в косаря с косою острою, в рыбака с частыми неводами; а Молодец, преследуемый Горем, превращается в летящего ясного сокола, затем в сизого голубя, потом в серого волка, а под конец — в ковыль и даже в рыбу морскую.

Эти миры автор «Повести» последовательно добавлял по ходу повествования: святой мир, хороший мир, плохой мир, зловещий мир, мир оборотничества. Такое комбинирование художественных миров, особенно мало мотивированная добавка оборотничества, подтверждает, что автор «Повести о Горе-Злочастии» был книжником, а комбинируя разнотипные миры, он стихийно таким способом выразил болезненное переживание драматичности и резкой переменчивости современной ему человеческой жизни.

Кстати, то же беспокойное мироощущение тем же способом донес до читателей и Аввакум в своем «Житии»: у него бурно сочетались миры и святой, и земной хороший, и земной плохой, и мир мистический. Во второй половине XVII в. в России не спроста появились смелые книжники-комбинаторы (ср., например, миры в «Повести об Иване-пономаревиче»): тут уже понадобился многогранный, хотя еще неопытный художественный талант.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Демин А. С. Взаимосвязь разных жанровых форм в памятниках XII–XVII вв. и умонастроения древнерусских авторов // *Studia Litterarum*. 2016. Т. 1, № 1–2. С. 239–255.
- 2 Демин А. С. «Хронограф 1512 года» // *История древнерусской литературы: Аналитическое пособие*. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 119–125.

- 3 *Жмакин В. И.* Митрополит Даниил и его сочинения. М.: Университетская тип., 1881. 907 с.
- 4 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 640 с.
- 5 Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР): Вторая половина XV века. М.: Худож. лит., 1982. 688 с.
- 6 Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР): Конец XV – первая половина XVI века. М.: Худож. лит., 1984. 768 с.
- 7 Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР): Середина XVI века. М.: Худож. лит., 1985. 624 с.
- 8 Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР): XIII век. М.: Худож. лит. 1981. 616 с.
- 9 Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР): XVII век. Кн. 1. М.: Худож. лит., 1988. 704 с.
- 10 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М.: Изд-во восточной литературы, 1962. Т. 2 / изд. подгот. А. А. Шахматов. 958 с.
- 11 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М.: Языки русской культуры, 1997. Т. 1 / изд. подгот. Е. Ф. Карский. 733 с.
- 12 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 22. СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1911. Ч. 1 / изд. подгот. С. П. Розанов. 567 с.
- 13 *Симони П. К.* Повесть о Горе-Злочастии, как Горе-Злочастие довело Молодца во иноческий чин, по единственной сохранившейся рукописи XVIII-го века // Сборник Отделения русского языка и словесности (СОРЯС). СПб.: Тип. императорской АН, 1907. Т. 83, № 1. С. 1–88. Снимок списка РНБ, Погодин., № 1773, л. 423 – 433 об.
- 14 *Творогов О. В.* Повести о взятии Константинополя турками в 1453 г. // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л.: Наука, 1989. Ч. 2, вып. 2. С. 195–197.
- 15 *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1908. 686 с.

© 2018. Anatoly S. Demin
Moscow, Russia

ON CERTAIN FACTORS OF EXPRESSIVE NARRATION IN OLD RUSSIAN LITERARY WORKS

Abstract: What is there so interesting about the Old Russian literature for us? Certainly not the formal textology, but the authors creativity. This paper gives at least a partial answer to this eternal question on the meaning of literature — about the degree of expressiveness and figurativeness of the narration in a number of literary monuments of the XII–XVII cc.: “The first Novgorod chronicle”, “Chronicle of Vladimir-Suzdal”, “Kiev chronicle”, “Galician chronicle”, “Life of Digenis”, “Life of Mercurius of Smolensk”, “Tale of Aristotle”, “Tales of the seizure of Tsargrad by turks”, “Tale of Ryazan’s devastation by Batu-khan”, “Chronograph of 1512”, “Tale of Woe and Misfortune”. Different works — different expressiveness to reveal. There were various

sources of inspiration for the old Russian bookmen: anxiety following the unparalleled social troubles and woes, innovations in arts and way of life, as well as new trends in editing and combining of themes; however ultimately the most important yet rare element that counted was natural literary gift of the old Russian writer, mainly tragedians.

Keywords: chronicles, tales, narration style, expressiveness, figurativeness, hidden meaning, associations.

Information about author: Anatoly S. Demin — DSc in Philology, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25 a, 121069 Moscow, Russia. E-mail: anatolydemin@gmail.com

Received: August 15, 2017

Date of publication: March 15, 2018

REFERENCES

- 1 Demin A. S. Vzaimosvjaz' raznyh zhanrovyh form v pamjatnikah XII–XVII vv. i umonastroenija drevnerusskikh avtorov [Interconnection of the various genre forms in monuments of the XII–XVII cc. and mentality of the Old Russian authors]. *Studia Litterarum*, 2016, vol. 1, no 1–2, pp. 239–255. (In Russian)
- 2 Demin A. S. “Hronograf 1512 goda” [Chronograph of 1512]. *Istorija drevnerusskoj literatury: Analiticheskoe posobie* [History of the Old Russian literature: Analytical manual]. Moscow, Jazyki slavjanskih kul'tur Publ., 2008, pp. 119–125. (In Russian)
- 3 Zhmakin V. I. *Mitropolit Daniil i ego sochinenija* [Metropolitan Daniil and his works]. Moscow, Universitetskaja tip. Publ., 1881. 907 p. (In Russian)
- 4 *Novgorodskaja pervaja letopis' starshego i mladshhego izvodov* [Older and younger recensions of the First Novgorod chronicle], izd. podgot. A. N. Nasonov. Moscow, Leningrad, Izd-vo AN SSSR Publ., 1950. 640 p. (In Russian)
- 5 *Pamjatniki literatury Drevnej Rusi (PLDR): Vtoraja polovina XV veka* [Literary monuments of the Ancient Rus': Th second half of the XVc.]. Moscow, Hudozh. lit., 1982. 688 p. (In Russian)
- 6 *Pamjatniki literatury Drevnej Rusi (PLDR): Konec XV – pervaja polovina XVI veka* [Literary monuments of the Ancient Rus': The end of the XV-the first half of the XVI c.]. Moscow, Hudozh. lit. Publ., 1984. 768 p. (In Russian)
- 7 *Pamjatniki literatury Drevnej Rusi (PLDR): Seredina XVI veka* [Literary monuments of the Ancient Rus': mid-XVIth century]. Moscow, Hudozh. lit. Publ., 1985. 624 p. (In Russian)
- 8 *Pamjatniki literatury Drevnej Rusi (PLDR): XIII vek* [Literary monuments of the Ancient Rus']. Moscow, Hudozh. lit. Publ., 1981. 616 p. (In Russian)
- 9 *Pamjatniki literatury Drevnej Rusi (PLDR): XVII vek. Book 1* [Literary monuments of the Ancient Rus']. Moscow, Hudozh. lit. Publ., 1988. 704 p. (In Russian)
- 10 *Polnoe sobranie russkikh letopisej (PSRL)* [Complete edition of Russian chronicles]. Moscow, Izd-vo vostochnoj literatury Publ., 1962. Vol. 2 / izd. podgot. A. A. Shahmatov. 958 p. (In Russian)
- 11 *Polnoe sobranie russkikh letopisej (PSRL)* [Complete edition of Russian chronicles]. Moscow, Jazyki russoj kul'tury Publ., 1997. Vol. 1 / izd. podgot. E. F. Karskij. 733 p. (In Russian)
- 12 *Polnoe sobranie russkikh letopisej (PSRL)* [Complete edition of Russian chronicles]. St. Petersburg, Tip. M. A. Aleksandrova Publ., 1911. Vol. 22, part 1 / izd. podgot. S. P. Rozanov. 567 p. (In Russian)

- 13 Simoni P. K. Povest' o Gore-Zlochastii, kak Gore-Zlochastie dovelo Molodca vo inocheskij chin, po edinstvennoj sohranivshejsja rukopisi XVIII-go veka [Tale of Woe and Misfortune, and how Woe and Misfortune made a monk of a young brave man. According the single surviving manuscript of XVIII century]. *Sbornik Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti (SORJaS)* [Collection of the Department of Russian language and language arts]. St. Petersburg, Tip. imperatorskoj AN Publ., 1907, vol. 83, no 1, pp. 1–88. Snimokspiska RNB, Pogodin., no 1773, l. 423 – 433 ob. (In Russian)
- 14 Tvorogov O. V. Povesti o vzjatii Konstantinopolja turkami v 1453 g. [Tales on the seizure of Constantinople by Turks in 1453]. *Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevnej Rusi* [Dictionary of bookmen and booklore of the Anciant Rus']. Leningrad, Nauka Publ., 1989, part 2, issue 2, pp. 195–197. (In Russian) (In Russian)
- 15 Shahmatov A. A. *Razyskanija o drevnejshihrussskih letopisnyh svodah* [Inquiries on Old Russian chronicles]. St. Petersburg, Tip. M. A. Aleksandrova Publ., 1908. 686 p. (In Russian)